Офелия, 27 мегагерц

Лет примерно через тридцать он, теперь уже действительно толстый и вялый, а не ради красного словца сказано, сходит с поезда PATH в Хобокене, двери раскрываются, он поднимается наверх, в залитый солнцем Хобокен. В руках такой чёрный саквояжик, совершенно из другого времени, с положенной металлической табличкой (гравировка почти стёрта, не разобрать), – вообще непонятно что такое, зубной врач из Бруклина, года из 22-го. Идёт: Гудзон Плаза, Ньюарк, Первая, Парк-авеню, 77; голуби (пять штук), опавшие листья, китайская забегаловка, опавшие листья, крона *Acer saccharum* – небо на просвет как стеклянное, дети орут, сгрудившись возле ворот, тренер подкидывает мяч правой рукой, десять минут, двадцать минут, три поворота, вот: раз-два-три. Ленивая девица за стойкой (полуоткрытый рот; эпические сиськи вываливаются из выреза красной футболки). Узкая лестница, ковёр, – саквояж летит на кровать, открывается. Распухшие, исписанные блокноты, один падает на пол, листки. Remote, remote же, полудохлые батарейки, телевизор, Fox News.

Армяне, ну да, у кого ещё могут быть эти имена, Гамлет, Джульетта. Ахназарян, боже. Одноклассница, на всех фотографиях поджав рот, светлые волосы от папы-кипчака. Тенгри, дыромолы, какая-то экзотика, скулы сводит от тоски, Всемирный Союз Кипчаков со штаб-квартирой на том берегу Гудзона. Цып-цып-цып, дети талидомидовые, в кадре по плечи, беззвучно разевают рот. Та самая гостиница, светло-бежевое покрывало, блокноты. Ну что, папа, теперь ты доволен или что? А ты, мама? Госдеповский женский кролик тычет пальцем в камеру, едва не срываясь на крик, потом срываясь. Камера плавно идёт вправо, крупный план величественно молчащего бегемота, сложившего руки на животе, вяло покачивающего головой. Чем запить? Из крана, из мини-бара.

Примерно тридцать лет назад, в семьдесят шестом, в этой самой гостинице, стараясь, чтобы язычок замка щёлкал про себя, наступать только на толстый ковёр (как, наверное, было неудобно на шпильках), всё равно не спрятаться, фонтан при входе и, как потом выяснилось, жучок за репродукцией Уайеса, сумерки на Кейп-коде, трава по пояс.

Потом, как всё закончилось, мы долго плыли через Атлантику с этими идиотами, которые вдвоём играли в переводного дурака и пили граппу, они почему-то тоже оказались живы, когда все оказались. Хотя уж им-то полагалось бы быть мёртвыми до конца и ещё несколько лет после. Я смотрел на тебя, фотографическая мастерская С.Райниша, думал: а как же ты, ты, ты, ты. Потом я смотрел на тебя из окна, как ты шла по Парк-авеню и думал: ты, ты. Не меняешься, остаёшься лучше всех во Вселенной, самой хорошей на свете, смотрел на тебя, а голуби отворачивались. Потом пошёл дождь, и ты вымокла, мокрые следы в коридоре, Fox News, Fox News, Fox, на девятом повторе биржевой сводки ты, наконец. Ты.

Никакого Fox News в семьдесят шестом году не было, а было Соуэто и Праздник Высоких Кораблей, и первая видеокассета, и Пенни Маршалл в тесной белой блузке, медленно поворачивающаяся в кадре, а Fox News – не было. Был первый блокнот, и ты была, ты. Неизвестно как мы вывернулись из этой идиотской истории, бесконтрольно делящейся, как раковые клетки, – и р-раз, оказались здесь, там, в общем, – мы оказались: армянскими иммигрантами, почти без языка, оказались: парой с тяжёлой и грязной историей в медицинской карте, растиражированной на всех языках. Оказались: двумя студентами колледжа, которые пытаются всё начать с новой страницы, в месте нового света. Оказались: двумя студентами, сидящими друг напротив друга в дайнере, на красных диванчиках, с розовым лимонадом, у обоих внутри по только что изобретённой кассете VHS, обе крутятся. Если выключить звук, слышно: шуршит. У меня внутри русский актёр С., у тебя русская актриса В. (и если бы только эти двое). PAL ворочается в поджелудочной, SECAM распухает в печени, NTSC исполняется в районе мозжечка, тянет у солнечного сплетения, болит, ещё

можно курить, – и ты куришь. Снаружи идёт дождь. Ну да, вода, понятное дело. Твоя вода. Это твоя вода.

Надо ли говорить, что. На экране чёрная толпа в Соуэто забрасывает чёрно-белыми камнями полицейских, расплывающихся в двухстах пятидесяти шести градациях серого. Вот, мы поднимаемся по лестнице. Второй этаж, направо, в самом конце коридора, двадцать первый номер, остатки переводной картинки с Бетти Пейдж, отслоившаяся амальгама. На девятом повторении биржевой сводки, ты, наконец, на девятом, – часто подолгу не можешь. Изжёванная крахмальная наволочка, судорога, ни звука. Темнеет, вот уже темно, собираешь наощупь чулки, бельё, идёшь в ванную, я смотрю в потолок, куда девается белый цвет ночью, какая-то ерунда. Скажи, я когда-нибудь был меньше похож на принца? Надеюсь, что нет. Разве только сейчас.

Сейчас, в середине солнечного осеннего дня, в доме семьдесят семь, пять голубей отвернулись от меня, пока я шёл по Гудзон Плаза, по улице Ньюарк, по Первой улице, по Парк-авеню. Тридцать из более чем двух тысяч голубей не захотели есть хлеб, побывавший у меня в руках. Госсекретарь сильно удивилась бы, узнав как меня зовут. Как тебя зовут. Осень в этом году ясная, небо прозрачное, над Нью-Джерси висит цейссовская прицельная синева, хрупкая как стекло. Дождя не будет, потому что дождь – это твоя вода. Тебя здесь нет. Может быть, вообще нет, откуда мне знать. В последний раз ты звонила из телефона-автомата, где-то на Среднем Западе, я узнал Айову – канадский веретенник, американская шилоклювка, круглоносый плавунчик, – не представляю, за каким они все собрались там. Разве что ты накрошила им хлеба, испечённого твоим братом, мельником сна, сыном совы и крысы. Откуда мне знать.

Осенью здесь темнеет раньше, чем в Эбельтофте, да нет, не то, чтобы даже раньше, а просто быстрее. Масляная река подёргивается отблесками светящихся по обе стороны берегов, он просыпается, встаёт, задёргивает шторы. Садится на кровать. Кряхтя, нагибается включить торшер. Достаёт из саквояжа дагерротип из мастерской С.Райниша, смотрит на матроску, деревянный меч, на качели, на белое платье. Думает, что и в детстве был похож на какого-то круглоносого плавунчика, которого берут с собой в ванную поплескаться перед сном, а больше он ни за чем. Вдалеке неслышно тянется под землёй поезд PATH, он выключает телевизор, закрывает глаза.

По радужке плывут чёрно-белые толпы в Соуэто, размахивающий руками Розенкранц, венок из цветов, сорванных на лугах Айовы, холодный Гудзон. Потом, когда, наконец, заканчиваются титры, он медленно собирает её лицо из белого шума пустых каналов. Собрав, молча улыбается ей, – коротко, как незнакомой женщине, с которой случайно сталкиваешься возле лифта в гостинице, – улыбается, входит в лифт и наконец засыпает снова.